

**Наталья
ВЕСЕЛОВА**

ОСТАВЬ

НАДЕЖДУ



Наталья Веселова

Оставь надежду

«Автор»

2002

Веселова Н. А.

Оставь надежду / Н. А. Веселова — «Автор», 2002

В повести предпринимается попытка создать традиционного положительного героя. Но... "Хороший человек - это всегда трагическая фигура" - утверждает автор устами одного из своих персонажей. Скромная школьная учительница и известная поэтесса - что между ними общего? Чем они могут помочь друг другу в условиях все более и более сурового к ним мира?

© Веселова Н. А., 2002

© Автор, 2002

Наталья Веселова

Оставь надежду

Где просто – там ангелов до ста.

Народная мудрость

Входящие, оставьте упования.

Данте

1

Старый чекист умер белой ночью. Но в половине девятого утра, предвещавшего мутно-жаркий, изнывающий в дрожащем палевом мареве день, Жека об этом еще не знал: в комнату прадеда с утра не принято было заглядывать. Если кто совался раньше десяти, пусть даже с самыми благими намерениями – осведомиться, например, не желает ли дедушка откушать чаю с баранкой, – он рисковал получить в лоб большим новым тапком, пущенным меткой рукой бывшего Ворошиловского стрелка.

Самое смешное заключалось в том, что девяностовосьмилетнему дедушке тапки вовсе не требовались: вот уже третий год, как после памятного головокружительного полета из окна их второго этажа, у него была парализована нижняя часть тела. Но домашние шлепанцы, совсем новые, за неделю до неприятности полученные в подарок, он с суеверным упорством запрещал убирать, свято веруя, что смехотворный недуг отступит сам собой как-нибудь поутру, и он, старый солдат революции, с того утра снова встанет в строй обеими ногами... – для начала в тапках, а уж потом найдет способ сменить их на добротный чекистский хром.

Но дед ошибся. Ноги вернулись не утром, а прямо среди ночи. Он даже не ощутил момента их возвращения – просто вдруг ясно понял, что они на месте и вполне подчиняются: вон, как послушно сгибаются и разгибаются большие лиловые пальцы с крепкими желтыми ногтями!

Дедушка не удивился и даже не особенно обрадовался – до того все эти месяцы он был каждую минуту внутренне готов подняться. А что произошла какая-то временная накладка, и вместо утра с положенным лучом меж неплотно сдвинутых штор, в окно подглядывает сумрачный и тревожный зрак белой ночи – то, стало быть, так и нужно, стало быть, приказ – идти именно сейчас.

Он сел, уверенно свесил ноги с тахты – и они тотчас же уютно угнездились в гостеприимные тапочки. Тогда дедушка поднялся, мимоходом отметив про себя, как ладно, по-молодому, успевает его тело за намерениями, – и замер: ну конечно, как он мог забыть?! Стареет, что ли? Да нет, вот вспомнил же вовремя! Ну, теперь-то его врасплох не застанут и голыми руками не возьмут! Чекист аккуратно опустился на четвереньки, протянул длинную руку под тахту и выдвинул большую обувную коробку. Там, под всяким ненужным хламом, который так тщательно бережется до смерти, а после – выбрасывается скопом и без проверки, завернутый в пеструю оберточную бумагу, под ней – в твердую парусину, и наконец – в кусок промасленного холста – он и лежал целехонький. Стиснул. Держат рученьки! Ого-го! Теперь коробку закрыть и обратно под тахту. Ногой ее. Так. Еще раз глянул на вновь обретенного друга. Даже почти умилился – слезы только не хватает. Вдохнул глубоко, расслабиться хотел перед новым боем и вдруг – яркая, ни на что не похожая боль рванула сердце на куски. «Достали все-таки... Чуть-чуть не дотянул... Прямо в сердце попали...» – успел подумать старый чекист, валясь

на колени и скрючиваясь. Он умер с уверенностью, что погибает в неравном бою с врагами советской Отчизны.

А Жека, закрыв дверь за взбалмошно спешившей на работу матерью, принялся названивать по телефону. Дело у него сегодня наклеывалось важное и даже, пожалуй, криминальное: он намеревался стащить у матери из шкатулки обручальное кольцо и заложить его в ломбард. Комбинация выделась совершенно беспроегрешная: мать кольца не хватится. Вот уже семнадцать с половиной лет, со дня его, Жекиного рождения, пальцы матери стали примерно на два размера шире, чем они были в тот день, когда его молодой смущенный отец бережно надевал на пальчик нареченной обручальное колечко во Дворце Бракосочетания. Первые семь-восемь лет мать про кольцо еще вспоминала, периодически порываясь отдать расширить, но так и не собралась, и оно обрело постоянное место в самом дальнем углу большой шкатулки под огромными связками полудрагоценных бус и браслетов. За такую здоровую шайбу весом грамма четыре, не меньше, и рублей дадут, наверное, четыреста, а то и больше, рассудил Жека. Сделку с совестью он совершил легко и безболезненно: кольцо ведь он не крадет, нет. Он его через два месяца выкупит, порциями вытянув деньги из матери и отца попеременно – и спокойно положит на место. А деньги сегодня нужны были Жеке как никогда: выпускной вечер начнется в пять часов, а до того надо успеть схоронить в школе в укромном месте не менее трех бутылей – его доля в сегодняшнем празднике. С собой, прямо на вечер, приносить нельзя: наметанное око завуча распознает нательные тайники с техникой виртуоза – и за этим всегда следует унижительная процедура личного обыска с последующим изъятием контрабанды. Словом, чудный был план, только никак не желал реализовываться из-за одной маленькой неувязки: до семнадцати лет оставалось Жеке семь месяцев, а значит, для успешного исполнения ему требовался совершеннолетний соучастник, согласный за малую мзду совершить финансовую операцию с краденой драгоценностью. Жека был честным юношей и перво-наперво просто попросил триста рублей у матери, зная наперед, что просит для проформы, ради очистки совести. Так оно и вышло.

– Да ты что, с ума, что ли сошел?! – взвизгнула мать в лицо своему смиренному отпрыску. – Мне с твоим выпускным скоро хлеба купить не на что будет! На подарок классной – сто, директору – сто, завучу – сто... Это еще игрушки... Банкет для вас – пятьсот, банкет для нас – триста... Теплоход этот ваш дурацкий (и зачем он нужен, опять кого-нибудь, как в прошлом году, из Невы вылавливать будут) – опять пятьсот. Да на костюм, да на цветы... И ты еще из меня последние копейки тянешь...

– Ну мам... – тихо гудел и посапывал Жека. – Ну ведь один же раз в жизни школу заканчиваешь... Ну вот я тебе обещаю – больше ни копейки не попрошу – целый месяц, а? Ну мам...

Но она прищурилась, издевательски улыбаясь:

– Ты думаешь, я не знаю, на что ты денег просишь? На водку просишь, стервец такой. Чтоб опять нажраться, как в Новый год, когда тебя едва нашли, охламона. В сугробе. Только ноги торчали. И ты хочешь, чтоб я еще раз...

– Да ты чо, мам, это девочкам на лимонад... Чипсы там всякие... Пирожные... Ты же сама говорила, что дамы не должны платить на вечеринках... – гнул свое Жека, чувствуя, что порет чушь, и хорошо еще, если дело не кончится затрещиной.

Мать набрала побольше воздуха и – понеслась:

– За все чипсы-лимонады-пирожные родители уже по полтысячи выложили! И за шампанское, между прочим, тоже! Решили на собрании разрешить вам в такой день выпить по бокалу шампанского! Там больше даже получиться – по полбутылки, считай! И хватит, хватит вполне – и так хороши будете! Кроме того, я знаю, что всякая сволочь все равно с собой портвейн протащит! И ты хочешь, чтобы я, своими руками, своему сыну...

Дальше Жека не слушал: он уже понял, что участь ее обручального кольца решена.

Но двое совершеннолетних уже отказались, а третий – последняя надежда, зато самая верная – еще спал. Жека откинулся в кресле, с ненавистью глядя на закрытую дверь дедовой комнаты, в этот момент вспомнив еще и о том, что в десять ноль-ноль в эту комнату следует подать горячий завтрак.

«Пиастры, пиастры, пиастры!» – вдруг раздалось прямо у него над ухом.

– Вот это ты в тему, Жано! – ответил довольный Жека: слову этому он сам недавно обучил любимого попугая, и тот использовал его лишь тогда, когда хотел подластиться именно к нему, Жеке.

Старая толстая серо-синяя птица давно уже захаживала в свою всегда открытую клетку только есть, спать и гадить – а так Жано жил свободно, летал по всей квартире, обладал почти таким же словарным запасом, как и хозяева, над родителями изгалялся как хотел, зато нежно любил Жеку.

Почти такой же старый, как и дедушка, с которым он и прибыл в дом, Жано в своем мудром возрасте не только воспроизводил и запоминал почти любые слова, но и пользовался ими как нельзя кстати. Про него невозможно было сказать «попка-дурак», потому что попка был – умный. Однажды подвыпивший папин гость оскорбил матерого попугая этим гнусным словосочетанием, да еще и сделал ему при этом «козу».

– Сам дурак, – хладнокровно ответил попка, и от «козы» не попятился – зато как ошпаренный отлетел гость.

Жано не только говорил всегда «в тему», но еще и соображал, кому что можно говорить и когда. А поскольку любимцем у него был Жека, то попугай, скромно подслушав на кухне ночной тайный разговор родителей, наутро добросовестно передавал младшему хозяину общий смысл этого разговора. Вдобавок, у него замечательно выходила имитация не только голосов, но и тончайших интонаций. И если Жека утром слышал от питомца сначала глумливое «Ларрисса Валер-рьевна», а потом надрывное «ме-еррзкая гримза», то безошибочно знал, что это мама рассказывала папе о произволе, творимом на работе ее начальницей. А когда попугай вдруг начинал подпрыгивать и вертеть гузкой, быстро-быстро повторяя папиным раздраженным баритоном «никак-не-сдохнет, никак-не-сдохнет, никак-не-сдохнет», то, значит, это снова отец сокрушался о том, что наличие прадеда в доме сулит и ему, прямому потомку, удивительное долголетие без маразма.

Собственно, это благодаря попугаю Жека догадался однажды, что его родители – обыкновенные, беспардонные лгуны. Что он, до того полагавший себя любимым дитятей нежных и внимательных супругов, на самом деле является просто бесплатным приложением к двум разочарованным в жизни, чужим друг другу и ему людям, просто сговорившимся не выставлять на обозрение миру свой тихий и приличный позор. Что папин дедушка, которого они взяли в семью жить восемь лет назад, как утверждали, с единственной целью – проявить милосердие к одинокому больному старику, на самом деле не был сдан в дом престарелых только потому, что благодаря его квартирке, соединенной с их, они в результате обмена получили квартирушу, рассчитывая, что старик и полгода не протянет.

«Квар-ртир-ра пр-ропадал-ла», – донес однажды верный соглядатай.

«Маар-разма-атик», – почти шепотом, как и требовали обстоятельства, докладывал он в другой раз, после того, как только что, уходя на работу, мать серьезно растолковывала сыну:

– Как придешь из школы – дедушке дай сразу обед: ты знаешь, как он сердится, когда ты задерживаешься. И «утку», пожалуйста, предлагай поделикатней, а то что это такое, извини, значит: «Дедуля, срать хочешь?» Поуважительней нужно к старшим относиться, тебе самому таким быть: ты весь в отца, а у них в роду полно долгожителей. Вот и представь, что ты станешь таким же стареньким, а у тебя будет такой вот, с позволения сказать, вежливый внучок...

– Да хватит, мама! – однажды не удержался многократно просвещенный попугаем Жека. – Ты ведь сама ждешь не дождешься, чтобы он поскорее умер, а из меня идиота делаешь.

– Жека! – очень натурально ужаснулась мать. – Как у тебя язык повернулся!

И тут Жека понял, что у каждой игры свои правила, и ЭТУ игру ему придется доигрывать по чужим; но ничего, когда-нибудь он придумает СВОИ правила и найдет способ заставить играть по ним других, и родителей, кстати, тоже.

Быть вежливым с бабушкой день ото дня становилось все труднее, потому что тот день ото дня все больше свихивался. Нет, это не было тем, что традиционно называется «старческим маразмом». Старый герой вовсе не впадал в детство, прекрасно понимал, где и в каком положении находится, узнавал окружающих, не путал назначение предметов и никогда не забывал вовремя попросить «утку» или судно. Но с каждым часом росла и росла в бабушке слепая, немотивированная, всепожирающая ненависть ко всем и всему. Эта ненависть, казалось, заменяла ему воздух – он дышал ею и выдыхал ее же, она горела холодным сизым огнем в его так и не потерявших орлиную зоркость глазах; он не мог произнести ни слова, не вложив в интонацию крайнюю степень своего единственного теперь чувства. И порой думал Жека, что ненависть эта не совсем уж беспомощна и бесплодна: возможно, она когда-нибудь выплеснется в последнем смертельном порыве – и горе тому, кто окажется у нее на пути!

Бабушка ненавидел всех: новых коммунистов на экране личного маленького телевизора («Пр-ре-едали... Пр-роср-ра-али...» – сообщал попугай); само собой, всех остальных политиков («Пр-родали-ись, пр-родали-ись»); красавиц-дикторш – («Гр-ребан-ные шл-люхи...»); а пуще всего – родного внука, его жену и их сына Жеку.

С некоторых пор Жека преданно ухаживал за стариком, добровольно взвалив на себя обязанности по кормежке, помывке и уборке, поэтому, присутствуя в комнате, слышал лишь тихое злобное бормотанье: понимал, стало быть, хитрый дед, что Жеку особенно злить не следует, чтобы ненароком не лишиться того малого, что от него получает. Но попугай, вылетев вслед за мальчиком, садился ему на плечо и расшифровывал:

– Бур-ржу-уйский выр-родок... – причем умная птица в таких случаях видоизменяла свирепую дедову интонацию на свою, словно чуть ироничную, как, впрочем, делают все, кто, наушничая, передает какую-либо конкретную гадость.

Будь Жека повзрослее, он уже знал бы, что те, кого Господь к старости наказывает безумием, сходят с ума на том, что являлось главным смыслом и целью жизни. Так выжившие из ума скряги прячут под подушкой уже не деньги и золото, а клочки бумажек, обеды и обломки – и никому не дают прикоснуться к зловонной куче, на которой торжественно возлежат.

Приворовывавшие помаленьку всю жизнь – в старости крадут у ближних булавки и блестящие обертки, срезают у дам забавные пуговицы с пальто, а потом ловко скрывают награбленное так, что порой лишь после их смерти родственники обнаруживают в хитроумных тайниках клады, вызывающие то ли жалость, то ли брезгливость...

А вот Жекин прадедушка, переживший двух жен и троих детей, всю свою жизнь проненавидел. В двадцатых, шестнадцатилетним мальчишкой-солдатенком, – увертливых белых с их благородной посадкой под стать изящному галопу чистокровных лошадей; в благословенных тридцатых – разоблаченных врагов и врагинь народа, которых он, будучи следователем НКВД, со вкусом мутзил цепью с железным шаром на конце в серой комнате с шершавыми, измаранными кровью стенами; во время Великой Отечественной – пораженцев, паникеров и дезертиров – и так приятно было бравому особисту стрелять в упор из родного ТТ в их перекошенные животным страхом рожи; в менее вольготных, но тоже счастливых шестидесятых попов, правда, уже не расстреливали, но постаревший боец за правду и их в застенках бивал, случалось, смертным боем; в семидесятых-восьмидесятых, уже на пенсии, но почитая себя все еще в рядах органов, выискивал он и выслеживал недобитых врагов, получивших красивое название «диссиденты» – и сдавал тепленькими, пикнуть не успевшими...

И никуда по закону сохранения энергии не могла деться столь всеобъемлющая ненависть – вот и искала выхода, кипела зловонным паром – покуда не взорвалась...

Еще неделю назад Жека мог этому только удивляться: он пока не ненавидел никого и ничего так жгуче и болезненно. Но теперь он, хотя и отдаленно, но деда понял: и в его жизни неделю назад появился человек, которого, не боясь он суда праведного (как местного, так и высшего) убил бы с помощью того самого предмета, который спрятан был у деда в комнате в коробке из-под сапог.

Это Жека сам вычислил – где, потому что, прибираясь вокруг дедова лежбища, все осмотрел, прощупал и понял: больше нигде. И способов подобраться к коробке той Жека не видел: всегда бдел закаленный воин, чутко вздрагивая при любом шорохе рядом с заповедным местом. Затем и вызвался Жека деду в добровольные няньки, что надеялся вещь эту, раз увидев, – добыть. Понял, что родители ничего не знают – иначе давно бы отобрали у беспомощного старикана.

Однажды, года два тому, некстати сунулся Жека в комнату деда – только на щелку дверь и открыл, как сразу попятился от грозного цыка – но в щелку успел углядеть. На кровать присел дедов гость, почти такой же дряхлый, но тоже несломленный. Чуть пригнувшись к другу сидел. Вот и блеснуло на миг меж ними в дедовой руке... И сразу забухало сердце, прямиком толкаясь в горло, а потом холодным ужиком скользнуло в живот – и Жека заулыбался прямо там, в темном коридоре...

Нет, не собирался он ее убивать, конечно: охота из-за слизнячки этой потом полжизни по тюрьмам мыкаться. А вот пугнуть – пугнул бы. Да так пугнул, чтоб поседела в минуту от ужаса, чтоб жизнь свою в картинках за миг увидела бы – за такой же миг, как сама легким движением руки неделю назад испохабила его жизнь...

Такую жуткую ненависть Жеки снискала себе его молодая учительница литературы Мария Ивановна Туманова по прозвищу Сиротка – тихая, робкая, забитая обладательница несокрушимой внутренней силы и столь же грозных идеалов. Снискала за то, что, наплевав на негласное решение педколлектива не портить мальчику аттестат, спокойно вlepила ему тройку за выпускное сочинение. Не поверив страшному известию, Жека добился увидеть свою работу собственными глазами. И увидел. Увидел застенчивую, угловатую троечку, маленькую, словно стыдившуюся самого своего случайного появления в этом мире. И бледную, неровную, какую-то паутинистую, но вполне вразумительную, а главное, абсолютно правдивую подпись под ней: «Произведение выпускником не прочитано».

Сей роман в стихах величайшего из поэтов Земли, описывающий весьма тоскливые, по мнению Жеки, перемещения его тезки по этой самой Земле, и его, тезкины, страдания, какими Жеке страдать в любом случае заказано, – сей роман действительно не был прочитан. Как, прочем, и оба других произведения, предлагавшиеся в альтернативных темах. И ведь мог же он еще проскочить на халяву, взяв тему свободную – так ведь нет! Угораздило польститься на с детства знакомый сюжет, казавшийся беспроегрышным, и, уверенный в том, что в высших сферах, то есть на педсовете или, еще выше, – в кабинете директора, твердая четверка ему обговорена и обеспечена, Жека, не мудрствуя лукаво, просто пересказал в сочинении то, что когда-либо слышал, приплетя туда даже дядю самых честных правил. Но дядя в энциклопедию русской жизни первой половины девятнадцатого века органически не вписался, и бедной Сиротке, подозревал Жека, пришлось грудью встретить целый педагогический цунами, отстаивая свое вполне законное право поставить «три» там, где, строго говоря, должна была стоять единица. В результате цунами, в школе на четыре одиннадцатых класса, вместо семерых учеников, получавших аттестаты без троек, осталось только шесть.

При других обстоятельствах Жека отнесся бы к этому со спокойным юмором: такую справедливость он понимал и даже где-то ценил. Но чахлая троечка эта (о которой, кстати, родители

еще не знали), вполне возможно, выворачивала его жизнь наизнанку: на бесплатное отделение того факультета, куда Жека собирался нести после школы свой аттестат, таковые принимались только без троек. И вот уже целый год едва ли не на цыпочках ходил Жека в школе, дабы случайно не прогневить кого из учителей, вызвав на себя рикошет мести в виде заниженной оценки. Стиснув зубы, он трижды пересдавал зачет по ненавистной биологии, умудрился хитростью дожать несговорчивого физрука, зубрил ночами неправильные английские глаголы... А вот психологом плохим оказался, Сиротку в расчет не принял...

Да и как ее было принять, убогую?! Ну, учил стихотворения, отрывки прозы даже какие-то гигантские зазубривал, получал свои четверки. А ее не трогал, нет, хотя травить Сиротку считалось в школе хорошим тоном – хоть бы это отметила, гадина! И ведь знала все – про факультет, про аттестат знала: сам на всякий случай сообщил в подходящую минутку... Убогая, юродивая – а как напакостила!..

Сиротка действительно считалась слегка тронутой. Худенькая, бледная, с серым пучочком кукишем на затылке, в непомерно длинной юбке, всегда одной и той же, имевшая к ней наперечет две застиранные блузки, сменявшие по будням одна другую, плюс праздничную – дешевую китайскую с ближайшего рынка. Как за порог школы – так сразу всегда на голову неприметный платочек. Лет двадцать восемь всего – а и пальто, и плащ – старушечьи, цвета и фасона неопределенного.

– Здравствуйте, дети...

Тут уж каждый класс изощрылся по-своему: 11 «б», например, по-гренадерски рявкал в ответ:

– Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!

А 10 «а», добравшись однажды до важной информации, что Мариванна – набожная и по воскресеньям в церковь бежит, как на работу, хорошо спевшимся клиросом выпевал:

– Ии ду-ухови-и твоему-уу... – это одна бойкая девочка научила: у нее батя был священником и ездил на такой крутой иномарке, что даже знатоки нацпринадлежность тачки определить не могли.

А Сиротка не обижалась. Смирненно кивала в ответ – «садитесь» – и начинала восхождение на свою ежедневную Голгофу. Ясными глазами глядя поверх равнодушно-насмешливых голов, возносясь голосом и душой еще выше, проникновенно рассказывала она о никому не нужных писателях, которые давно померли, как померли и те, кто читал и любил их книги, об ушедших навсегда культурных эпохах – и голос ее звенел так же беспомощно, как у той девушки в церковном хоре, стихотворение о которой пришлось все-таки выучить Жеке.

Она заставляла себя не обращать внимания на мерно жужжащий и шелестящий класс, только страдальчески опускала иногда нимало не потемневший взгляд туда, где слишком громко брякала бутылка пива или уж слишком отчетливо слышался уютный девичий матерок. Был у нее, правда, один странный способ наказывать: заслышав среди своей вдохновенной речи о величии русского слова шебутное треньканье «семь-сорок» чьего-нибудь мобильного, она прерывалась на полуслове. Мгновенно повисала тишина, и незадачливый абонент МТС вынужден был сбивчиво бормотать в трубку извинения при напряженном внимании всего класса. Надо сказать, что этим Мариванна добилась того, что перед ее уроками, как и перед большинством остальных, мобильники отключались напрочь.

Уроки протекали, в основном, без неожиданностей. Только иногда, когда совсем донимал ее чей-то гогот или хрюканье, когда очень близко к лицу пролетал самолетик с ярко выведенным неприличным словом – тогда ее глаза быстро и явно для всех наполнялись слезами, а голосок начинал предательски прерываться. Безобразие моментально прекращали – но не из уважения, страха или жалости, а из инстинктивного внутреннего опасения: а вдруг она сейчас опять, как в тот раз...

«Тот раз» был единственным, когда она все-таки сорвалась до конца – и это оказалось так неожиданно и страшно, что с тех пор ее старались до крайности не доводить. С того дня просто «Мариванна», потом «Монашка», потом «Урода» (что по-польски значит красавица) превратилась в Сиротку навсегда. В «тот раз» она преподносила десятиклассникам канонизированный всеми властями и партиями одинаково образ Пушкина. Тема была выбрана очень удачно: о чистоте его поэзии, в которой нашла отражение столь же чистая, только, увы, современниками не понятая и потому тяжело раненная душа. О возвышенной любви к прекрасным женщинам речь тоже заходила и без «гения чистой красоты» дело, конечно, не обошлось. Класс, по обычаю, мерно гудел: этот ровный звук всегда сопровождает более чем десять собравшихся в одном помещении людей, каждый из которых спокойно занят своим делом. И вдруг из однообразного гула выделился один настойчивый голос:

– Мариванна! Мариванна! А можно спросить?

– А? – испуганно запнулась она, совершенно не привыкнув к тому, чтобы ей задавали вопросы любознательные ученики; но сразу ободрилась:

– Конечно, пожалуйста, Дима... – сверившись с журналом, – Платонов. Внимание, ребята, послушаем, какой вопрос хочет задать Дима Платонов.

Если бы Мариванна не была и сама так же чиста душой, как только что представляла Пушкина, то она бы почувствовала, что тишина, сразу стеной вставшая в классе, по сути своей, жутка. Потому что все старшеклассники знали, что Дима Платонов никогда еще не произнесил ничего не только путного, но и просто элементарно приличного. Но он вдруг – произнес, причем даже ни разу не вставив непотребного словца-паразита:

– Мариванна, а можно мне... того – проиллюстрировать?

– Что – проиллюстрировать? – еще не веря привалившему счастью, выдохнула учительница.

– Ну как – что... Ваши слова. Вот вы сейчас рассказываете, какой Пушкин был весь из себя – того... Светлый гений... Вот мне и захотелось стихотворение прочитать... – Дима невинно смотрел в глаза Мариванне своими широко распахнутыми во всю безмерную пустоту голубыми очами.

– Чье? – на всякий случай поинтересовалась она.

– Как – чье? Пушкина, конечно. Вот отсюда, – и Дима показал один из трех красных с золотом томиков.

Тут бы ей и насторожиться. Заметить, наконец, что тишина в классе уже сгустилась до осязаемости, что Оля Торопова отчаянно тянет Платонова сзади за жилетку вниз – а Оля Торопова ничего не делает зря...

Но Мариванна, наверное, решила, что сегодня ей, наконец, удалось – с помощью гения, конечно, – достучаться до сердца громилы-двоечника Платонова, задеть его великим словом, вдохновить на поступок...

– Конечно! – восторженно обрадовалась она. – Пожалуйста, Дима, начинайте...

А томик-то не зря был подобран из собрания вполне академического. Даже сама перед собой Мариванна ухитрялась закрывать глаза на то, что Алексансергеич иногда позволял себе некоторые... вольности. Причем такого рода, что в академических изданиях их приходится заменять многоточием. Но искушенный глаз всегда мгновенно расшифрует нехитрую тайнопись и, при желании, любой может процитировать стихотворение во всей его полноте. Но Мариванна всегда смущенно отводила глаза от сомнительных мест, боясь случайно – догадаться и хотя бы про себя – но озвучить милую шалость поэта... Дима же Платонов не побоялся озвучить и вслух. Причем не только вслух, а – громогласно и – абсолютная неожиданность – с выражением.

И тишина за миг разрядилась взрывом. Неизвестно даже, что именно вызвало такой приступ хохота: сами ли давно известные всем строки, способ декламации или перекосившееся,

как от удара в поддых, лицо учительницы. Он все нарастал, этот гомерический рев – а она стояла у зеленой доски, словно внезапно нагая перед всеми. И вдруг схватилась за горло обеими руками. Привстали передние парты. Быстро откатилась затихающая волна смеха. Подавились последние истерические хмыки, и в замогильной тишине зазвучал, пресекаясь посекудно, голос Мариванны:

– Я... сирота... Уже неделю как... сирота... Ни отца, ни матери... Никого... А вы – сироту обижаете... Вы... не смеете! Грех это... Непрощенный... За меня заступиться некому... Вас Сам Бог... Накажет, – она задохнулась и дымчатой тенью метнулась из класса.

Минуты три, пока не рухнул освобождающий звонок, тишина в классе не нарушалась даже громким дыханием. А само происшествие настолько не подлежало осмыслению, что о нем, как по уговору, не упоминали ни разу прямо. Косвенно же оно запечатлелось на скрижалях школы в навечном прозвище Сиротка.

И вот эта-то Сиротка неделю назад, вскинув на стоящего перед ней трясущегося Жеку спокойные и светлые глаза, застенчиво говорила ему:

– Женя, вы тоже должны меня понять. Заведомо зависить вам оценку я не могла: это противоречило бы моей совести. Не стану скрывать: меня просили и даже... убеждали... Но есть вещи, которые для меня... неприемлемы...

В тот момент Жека уже знал, что изменить ничего невозможно, что даже подача апелляции в данном случае смешна. Им двигало только желание высказать ей свое презрение, ранить ее, как она его ранила – из принципа. Теперь и он шел на принцип – достать ее еще раз, как тогда достал Платонов, чтоб с ней произошло что-нибудь такое, чтоб ей опять прозвище сменили! Кроме того, несмотря на то, что впереди ждали еще два экзамена, он ощущал полную безнаказанность абсолютно всего – разве что ударить ее он пока не рискнул бы. Она так любит слово? Вот он сейчас с ней и разделается – словами...

– А вашей совести не противоречит – сломать человеку жизнь из-за того, что он не прочел всего одну книгу? – зло спросил Жека, разгоняясь на дальнейшее хамство. – Не заест вас ваша хваленая совесть, когда вы будете знать, что вы всю мою мечту – с детства! – испоганили? Родители ведь мой платное отделение не вытянут. По шмоткам моим можете убедиться. А это значит, что мне, чтобы в армию не загреметь – не туда идти придется. Не туда, куда с детства душа рвалась! А вы... стерва... все перечеркнули одним махом. Принципы у вас... Да морду бьют за такие принципы! – вроде уж и достаточно нахамил Жека, а все не то, не удавалось размазать ее одним словом, как она его – одним движением.

Но Сиротка разволновалась, щеки ее вспыхнули, и она сама в благородном запале подсказала ему нужное слово:

– Ни туда, ни в какое другое место... Никуда по-настоящему не годятся люди, не знающие и не любящие русскую литературу. Они ничего не могут и не значат, потому что на нашей глубоко нравственной литературе стоит...

– Зато на тебя ни у кого не стоит, – громко, отдельно и похабно произнес Жека. – Оттого ты и бесишься. Удавить бы тебя.

Произнеся это, он сразу же испугался чуть не до медвежьей болезни, поэтому, забыв даже взглянуть в ее лицо и убедиться, что оскорбление дошло по назначению, Жека круто развернулся и спринтерски рванул из учительской...

...Он набрал номер еще раз и – о, радость! – спавший, оказалось, проснулся. Пару минут послушав Жеку, он быстро согласился войти в долю, причем запросил по-божески.

– Там в десять открывается! – возопил счастливый Жека. – Так я сейчас деда покормлю быстро, и к тебе с шайбой!

– Да не гони лошадей, – лениво отозвалась трубка. – Мне нужно побриться, принять ванну, выпить чашечку коффе...

– Ладно, тогда в одиннадцать, – покладисто согласился Жека и, во избежание дальнейших недоразумений, быстро нажал пальцем на рычаг.

Еще держа трубку в руке, подмигнул Жано:

– Всё, друг, на сегодня пиастры обеспечены.

– Пиастры! Пиастры! Пиастры! – с готовностью поддержал тему попугай.

Жека неторопливо заварил свежий – старый дед не терпел – чай, развел горячим молоком два пакетика фруктовой овсянки, осторожно разрезал бублик с маком вдоль и щедро намазал сливочным маслом оба получившихся кольца: покушать старик любил и челюстями на присосках всегда работал бойко. Да, а «утка»-то! Сполоснул ее на всякий случай и, по-ресторанному водрузив поднос с завтраком на пятерню одной руки, а другой волоча за горло неуклюжий стеклянный прибор, толкнул дверь дедовой комнаты. Дверь находилась прямо перед кроватью, но никакого дедушки на кровати не было. Он лежал, свернувшись в крендель и неловко спрятав руки под себя, на полу, за изголовьем, неожиданно маленький и трогательный в своей пижаме и... тапочках. Остолбеневший Жека не сразу и понял, что обутые ноги могут означать только одно: дед не свалился с кровати, а встал, обулся, да еще и прошел за изголовье, где и упал. Об этом Жека подумал гораздо позже, а в первый момент он тоненьким детским голоском задал наиглупейший вопрос:

– Дед, ты чего, а? – и, хотя, еще задавая его, знал, что не получит ответа, добавил: – Умер, да? – второй вопрос превзошел глупостью непревосходимый первый.

Прадеда Жека не любил и покойников не боялся. Поэтому первый шок отпустил его уже через минуту, уступив место новому интересному вопросу: что теперь делать? Ответить было легко даже такому придурку, каким показал себя в последние минуты Жека: позвонить родителям на работу. Потом пробилась шальная мысль о том, что сегодняшней выпускной для него накрывается медным тазом. После – что нет, не накрывается: сейчас приедут родители, вызовут, кого следует, тело увезут в морг, горя в семье явно не намечается – так чего ради родителям портить единственному сыну единственный праздник? При мысли о родителях рядом выросла и другая: дурак. Правда, ему сначала действительно немного мозги отшибло, но после-то мог вспомнить! Хорошо хоть, вообще не забыл! А то предки бы враз вещь изъяли! Только тут он догадался поставить «утку» на пол, а поднос на столик. Все-таки раз опасливо покосившись в сторону тела, Жека ловко нырнул под тахту и выудил заветную коробку. Раскидал какое-то тряпье, бумажки, мелочевку. И убедился, что в коробке больше ничего нет. Пошарил в ней еще – будто иголку в стоге сена искал! – потом вывернул все на пол. Стоп, так не годится предки сразу поймут, что что-то искал. Сгрести все обратно. Перепрятал, старая сволочь. Ничего, найдем. Так, спокойно... Подумать не торопясь. Кровать. Руками ее. Так. Под матрац посмотреть... Пусто. Господи, да куда ж тут еще прятать-то! Полки, два столика, телевизор – всё на виду! Одежда деда в общем шкафу в другой комнате. И ведь где-то здесь спрятано! Тайник он, что ли, сделал? Половицу содрал? Тьфу ты, какая половица, это линолеум! Не стену же продолбил! Нету, конечно. Сбагрил дед. Может, тому чуваку отдал, который тогда сидел? А может, вообще не его был, а чувака? Родители бы знали... Или нет? На кой им в чужом барахле рыться? В растерянности Жека не заметил, как присел на корточки рядом с трупом, будто надеясь, что тот напоследок соберется с мыслями и расскажет. Собственно, разочарования большого не было: не имел раньше Жека такой вещи – ну, и не займет никогда. Померещилась удача, да мимо проскочила. Бывает. Зато прок есть: не зря же он два года пропадал в школьном подвале, в тире, где стрелять научился так, что подбрось только монетку – и... Пригодиться может. И уже добродушно он тронул мертвеца за плечо:

– Ну что, старый пердун? Фиг теперь из тебя что вытащишь, а?

Но то ли Жека закоченевшее плечо случайно подтолкнул сильнее, чем нужно, то ли в неустойчивом положении находилось тело – но только оно вдруг мягко перекаатилось на спину.

Самурай не расстался и в смерти со своим мечом. Старый чекист мертвой хваткой держал в прижатой к сердцу руке вороненую рукоять...

Спрятав обретенное сокровище понадежней, Жека вспомнил, наконец, и о родителях, и о телефоне, и о том, что на одиннадцать сам же и забил важную стрелку. Первым делом набрал рабочий номер матери, но, услышав ее голос, растерянно замер: у Жеки не было еще опыта чужой смерти, и он совершенно не представлял – как именно следует о ней сообщать.

– Ну давай скорей, что тебе надо, тут телефон ждут, – раздраженно бросила мать.

Жека встретился с понимающим и словно сулящим поддержку взглядом попугая.

– Мам, понимаешь... Тут такое дело... В общем, дед-то наш... Ну, да чего там говорить... Помер...

– Стар-рый пер-рдун, – сказал как отрезал Жано.

2

С третьей попытки Маше Тумановой удалось, наконец, отодвинуть от стены трехстворчатый шкаф. При первой шкаф чуть не рухнул плашмя на столик с крошечным телевизором, уже перемещенный в центр комнаты, а при второй едва не похоронил под собой Машу. Она отдышалась и быстро глянула на свои золотые наручные часики, последний мамин подарок: стрелки как раз слились в одну и указали на двенадцать. Маша отерла мокрое от усилий лицо ладонями и огляделась. Комната являла собой настолько удручающее зрелище, что сердце сразу сжалось в маленький грустный комок. Нет, не успеть, ни за что не успеть. И, главное, как потом поставить шкаф обратно?

– Как это – не успею? – вслух подбодрила себя Маша. – С Божьей помощью... – и тут же поймала себя на мысли, что, если б эта помощь выразилась в ниспослании четы ангелов, временно материализовавшихся в пару рослых неутомимых подручных, то она бы ничего не имела против.

Маша чуть помедлила, словно действительно надеясь, что вот-вот подоспеет подмога, затем тряхнула головой и отдала себе волевой приказ начинать. Легко сказать – начинать: положение было точно таким, как когда люди беспомощно разводят руками и упавшим голосом лепечут: «Не знаешь, за что и взяться...». Нарядные, не распакованные еще рулоны обоев, похожие на аккуратную поленницу, лежали у стены. Клей-трехминутка был вполне готов, привлекателен и надежен на вид. Круглое ведерко шпатлевки по соседству с девственным шпателем вызывало противоречивые чувства, потому что начинать, по всей вероятности, следовало именно с него.

...Сначала Маша хотела только оторвать от стены уже отклеившиеся кусочки старых обоев, аккуратно залепить те места газетой, а новые «обойчики» наклеить прямо поверх: не евроремонт же у нее!

Но едва она легонько потянула за первый приглянувшийся уголок, как он послушно сам отделился от стены, будто приглашая дернуть. Маша дернула – и начался кошмар. В ее руках маленький клочок грязной бумаги мгновенно превратился в угрожающе расширяющуюся книзу ленту и, когда Маша, зажмурив глаза, завершила рывок, то послышался зловецкий треск, взметнулась серая пыль, и почти целый лист обоев оказался у нее в руках. Мало того – он выворотил из стены куски штукатурки – каждый размером с хороший кулак – и теперь обнаженная стена перед Машей выглядела так, словно в нее попал миниатюрный артиллерийский снаряд. Еще не сообразив по неопытности, какую проблему создает своими руками себе на голову, Маша примерилась еще к паре-тройке привлекательно обвисших уголков. В результате обвалился почти целиком один угол комнаты, и другая стена продемонстрировала такую же

омерзительную сущность, как и первая. Маша приняла единственно правильное, но несколько запоздалое решение ничего больше не отрывать, а все торчащее приклеить обратно. Потом, непрестанно чихая от вездесущей пыли, она выметала, выгребала и выбрасывала. После этого, надрываясь и обливаясь жарким потом, передвигала мебель на середину комнаты, выиграв напоследок азартную битву со старинным добротным шкафом, лишь после победы осознав напрасность борьбы: за шкафом вполне можно было и не клеить, сэкономив на этом не только обои, но и значительную часть собственных, уже изрядно подорванных сил. «И надо же было именно этому дню выдаться таким чудовищно жарким!» – чуть не плакала Маша, руками запихивая серую липучую шпатлевку в зияющие бездонные дыры на стенах и бестолково возя по ним быстро превратившимся в твердый кусок непонятно чего шпателем... Работа, казалось, не продвигалась совсем; Маша билась вдоль стен, закусив губы – грязная с головы до ног, в мокром, безнадежно испорченном халате, с каждой секундой чувствуя, что пропадает... Она боялась, что сейчас швырнет шпатель в одну сторону, отфутболит ногой ведро в другую, сядет на пол и зарыдает от бессилия... Ну нет, контроль над собой она больше не потеряет! Хватит и одного раза – на том уроке растреклятом!..

У каждого из нас обязательно есть несколько воспоминаний, причиняющих душе примерно такую же боль, какую раскаленный утюг может причинить телу. Но если по-настоящему значительной физической боли иной и может в жизни избежать (для этого достаточно лишь самому не напрашиваться на неприятности, вовремя лечить зубы и чаще глядеть себе под ноги) – то вот боли душевной, пронзительной до звезд в глазах, не избежал, пожалуй, еще ни один человек разумный. Он же – человек гордый, потому и боль, за редким исключением, навечно застревает в душе тогда, когда ее унизили. О степени гордости человека можно судить, только если удастся вырвать у него тайну самого кошмарного воспоминания жизни – и чаще всего им окажется момент колоссального унижения. И вот уже два года, как Маша с ужасом поняла, что не день странной смерти молодой еще матери-подруги останется для нее навсегда ужаснейшим днем в жизни, а мелкое происшествие на уроке неделю спустя... Она уже может без слез вспоминать и даже рассказывать другим, как вышел к ней врач – молодой, равнодушный, с модной небритостью, и, ровно никак не изобразив даже необходимого профессионального сочувствия, сообщил о смерти ее матери, как о проигрыше глубоко безразличной футбольной команды. Как ее, Машу, ослепшую от слез, за плечи вела по коридорам больницы незнакомая женщина из посетителей, с которой вместе они потом и застряли в лифте над бездной между десятым и одиннадцатым этажами...

А вот голубые (как, говорят, у всех негодяев) глаза Димы Платонова, когда он, с позволения сказать... – нет, нет, хватит, а то она опять задохнется, чего с ней ни раньше того дня, ни позже не бывало – и расклеится, и дело встанет... Ну, пусть оно встанет разве что на минуточку, что ей потребуется достать из кармашка телеграмму и перечитать: «Прибываю утром вторник Москвы жди дома семь утра целую Игорь». Телеграмма ждала ответа куда-то в Москву, но Маша так растерялась перед нетерпеливо гарцевавшим почтальоном, что начала мучительно и непоправимо заикаться. Поэтому из сотен слов, имевшихся у нее на такой случай, из которых каждое было самым важным и требовало немедленной реализации, ей удалось выбрать всего одно, зато удачнейшее: "Жду".

...Эта была ее последняя, но едва ли не единственная вечеринка у людей, не входящих в их с мамой дом: пригласила бывшая одноклассница, уж года три как потерянная из виду, но однажды с приветственным бульканьем налетевшая на Машу откуда-то из-за колонны Казанского собора. Мать, тогда уже начавшая прихварывать, провожала дочку в «чужие» гости, будто снаряжая, по крайней мере, на машине времени в злосчастную Гоморру.

– Маша, ты эту юбку не наденешь. Я вообще не понимаю, зачем у тебя эта юбка... Милый мой! – то было ее особое выраженьице для упрека. – Ты же, слава Богу, не на подиуме выступаешь, куда коленками-то щеголять!

– Мама! – неожиданным басом упиралась Маша. – Ну, длинная та юбка, длинная! Не в церковь иду – к людям!

– Не-ет, милый мой! – упрек грозил переродиться в угрозу. – Если в церковь в одном, а к людям в другом – то это двуличием называется. И человекоугодием. И что там эти люди себе думают – то их дело, а мое – это чтоб про дочку не сказали, что она коленками мужчин завлекает.

– Ну, мама! Не собираюсь я никого завлекать! Зато не хочу, чтоб про меня сказали, что я – в мои двадцать шесть – синий чулок и старая дева! – доказывала Маша, боясь слишком разгорячиться и тем склонить маму отменить едва вырванное разрешение дочке маленького развлечения «на стороне».

«Стороной» она называла любые контакты дочери, происходившие без ее присутствия и благословения. Дочь никогда не возражала – наоборот, с годами все отдаляются, а она все тесней и тесней жалась к матери. В девицах, правда, засиделась, но да это, может, и к лучшему: в наше время соблудности христианский брак – дело почти немыслимое: то там, то здесь перед Господом слукавишь, особенно в вопросах чадородия... Поэтому лучше и легче материнскому сердцу видеть дочь одинокую изначально, чем брошенную с дитятей и разбитым сердцем... Она не колебалась с ответом:

– Э-э, милый мой... Не бывает дев старых и молодых. А бывают мудрые и неразумные. Ты, милый мой, сегодня что-то ко вторым ближе. А там глядишь и как бы перед закрытой дверью не оказаться...

Маша почувствовала, что мама явно гнет к тому, чтоб твердой заботливой рукой немедленно вернуть дочь в первую категорию дев, а для того все же не рисковать пускать ее сегодня одну в сомнительное предприятие.

– Мамочка, ну, пожалуйста! – взмолилась бесхитростная Маша, так и не догадавшаяся ни прилгнуть, ни подлукавить. – Я ведь все-таки не школьница, а... учительница, – она мило покраснела. – И потом, когда тебе было двадцать шесть, у тебя уже была я, и мне было пять. А меня ты все, как первоклашку, за ручку водишь. Ну, не в Содом же я еду, а в нормальный дом в гости!

– Теперь уж не очень-то и отличишь – где нормальный дом, а где Содом... – горестно срифмовала мама, но сопротивляться перестала, только тревожно следила ланьими глазами за радостными сборами дочки.

Маша знала, что тревога эта диктуется не мелочным материнским эгоизмом – пусть-де дочка подольше дома посидит, да при мне побудет... Волновалась мама из-за того, что, обретя через скорби Бога и открыв Его для дочери, она боялась, что каждый ее шаг из-под маминого крыла в забесовленный мир может стать и первым шагом от Бога: от послабления – к расцерковлению – к равнодушию – к отторжению...

Но Маша видела, как уже облетает ее по-настоящему так и не расцветшая молодость, от которой она не оторвала ни одного цветка в виде хотя бы праздника: и ее, и мамины дни Ангела и Рождения однозначно выпадали только на Великий Пост, светские праздники отвергались по определению, а на двенадесятые собирались в их однокомнатной квартирке опрятные безвозрастные богомолки за чаем и безвредными сплетнями, или они сами шли с букетом цветов в такой же целомудренный женский дом – где все, конечно, любили тихую хорошенькую Машеньку, но где она чувствовала, что уже и сама начинает терять возраст – впрочем, в вечности нет времени...

...Мороз стоял такой, что почти мгновенно онемели ноги, а голову под теплым платком начало ломить у висков. Черный ночной воздух казался жестким и колючим, его с трудом

приходилось проталкивать в себя как хрусткую вату. Вдобавок, до закрытия метро оставалось полчаса. «Полчаса отчаянья, – убито произнесла Маша про себя, едва поспевая рядом с ним по скользкому бугристому тротуару где-то среди хрущевок Дачного. – Господи, вот сейчас пройдут эти полчаса, и на метро мы, конечно, успеем, и я больше его не увижу». Они поспешали сначала вдоль железной дороги, и Маша почему-то запомнила, как шустро протрещала мимо быстрая электричка, потом свернули на унылую улицу с редкими туманными фонарями, и он неловко пошутил насчет возможного открытого люка, а она насильственно улыбнулась, забыв, что все равно темно, и улыбка пропала втуне – и тогда Игорь вдруг остановился, вынудив ее рефлекторно застыть тоже – и спросил словно бы недоуменно:

– Слушайте, вы что, действительно хотите успеть на метро?

Наступил тот неповторимый таинственный миг, когда одним словом меняется – или остается прежней – судьба, миг исключительной правдивости, не терпящий и тени лукавства, – и Маша сумела распознать и оценить его.

– Нет, – просто сказала она. – Наоборот, я совсем не хочу туда успеть.

Маша впервые в жизни напрочь забыла о своей бедной маме, которая в ту минуту, верно, уж не надеялась увидеть свою дочь живой или, по крайней мере, прежней. Как выяснилось позже, гораздо позже, она к тому времени успела представить себе самое страшное: Машенька выпила целый бокал вина – конечно, разве можно устоять неопытной девочке среди таких грозных соблазнов! – и теперь, безобразно пьяная и оттого беспомощная, так и не добравшись до метро, погибает, если еще не погибла, где-то на одной из зловещих улиц их преисподнего города...

Еще более страшной правды мама так никогда и не узнала: вино на вечеринке отсутствовало вовсе. Зато одна за другой волшебным образом появлялись голубые, будто из хрусталя, бутылки заморской водки. Первую рюмку Маша опрокинула, зажмурившись, с ощущением, что губит свою бессмертную душу – ибо сейчас, конечно, умрет на месте без покаяния. Но когда выяснилось, что ядовитое зелье не только не оказало своего губительного действия, но и вообще ничего не изменило в худшую сторону, она с восхитительным чувством освобождения отныне и навсегда, уже с толком, с расстановкой распробовала вторую порцию. А, потянувшись за третьей, даже осмелилась поднять взгляд на мужчину напротив и столкнулась с внимательно и как бы одобрительно изучающими карими глазами молодого человека, представленного ей, помнится, Игорем. Машинная рука невольно изменила направление прямо над столом, удачно убедив безмолвного визави, что ее хозяйка всего лишь хотела побаловаться бутербродом с черной икрой. Но это изысканное лакомство Маша пробовала впервые, и лишь только оно оказалось во рту, – а она с размаху отхватила зубами изрядный кусок – то выяснилось, что ни жевать, ни, тем паче, проглотить эту скользкую, воняющую сырой рыбой соленую мерзость она не сможет даже под дулом... Выплюнуть в салфетку?! А если кто увидит?! – и тут к горлу подступила тошнота, сердце заколотилось.

– Быстрее, – раздался спокойный шепот совсем рядом. – Туда.

Игорь ловко и деликатно подхватил Машу под локоть и, артистически минуя разбредшие по комнате неясные человеческие фигуры, в одну минуту доставил ее прямо к помойному ведру на кухне, а сам вежливо отвернулся. Маша быстро выплюнула гнусную кашлицу и стала неторопливо оборачиваться, всей душой желая, чтоб сзади никого не оказалось. Но Игорь честно стоял у стены, демонстрируя ей красивую невозмутимую спину. Маша решила робко кашлянуть, и тогда мужчина обернулся с обаятельной всепонимающей улыбкой.

– Нехорошо получилось, – сочла нужным пояснить Маша. – Я и представить себе не могла, что это такая гадость. И как только она людям нравится?

– На вкус, на цвет, – начал он.

– ...товарища нет, – закончила она, и оба поняли, что говорят наибанальнейшую банальность.

Тем бы все, наверное, и закончилось, думала впоследствии Маша, если б Игорь на обратном пути в гостиную не вызвал в ней острую симпатию, бросив мимоходом:

– Не думайте, что я вам указываю или навязываюсь. Но только пить вам сегодня больше нельзя – ни грамма – иначе очень скоро вы не оберетесь неприятностей.

Он констатировал факт и исчез, подтвердив тем самым свою ненавязчивость, и все-таки это именно из-за его подразумеваемого присутствия где-то в ближнем пространстве Маша так и не ушла домой в десять часов, что было, по крайней мере, раз пять торжественно обещано маме – а просидела до полуночи, пока все не начали скопом прощаться, толпясь в прихожей и беспрестанно упоминая слово «метро». И то, что до этой магической точки в ее провожатые вызвался именно Игорь, Маше не показалось ни странным, ни пугающим: она чувствовала себя блудным сыном, только что интимно потрапезничавшим с толстыми и очень милыми розовыми зверушками, но вовсе не торопящимся под теплую кровлю отчего дома.

...Ее честный ответ, паче чаяния, не удивил Игоря (Маше даже послышалось нечто вроде «Я так и думал»), но он не спешил предпринимать меры к довершению падения неразумной девы, к чему обязан был немедленно приступить, по словам хорошо знающей жизнь мамы, и на что Маша, почитавшая себя после своей сегодняшней безумной оргии конченным человеком, уже была вполне внутренне согласна.

А Игорь, казалось, и не собирался везти усмиренную жертву кутить «в номера». Он вдруг произнес нечто такое, что Машу в какой-то степени даже разочаровало:

– Тогда давайте просто спокойно прогуляемся по бульвару до проспекта, а там поймаем машину и доставим вас домой с комфортом.

– Я с мамой живу, – доверительно сообщила Маша, намереваясь этими словами сразу расставить все по местам.

Он, казалось, задумался.

«Так, сейчас перспектива ехать в машине отпадет, и он либо бросит меня прямо здесь, одну посреди улицы, либо пригласит к себе», – решила за него Маша.

– Тогда нам нужно все-таки немного поторопиться, – рассудительно заметил Игорь. – А то она там за вас, наверное, волнуется.

Тут Маша сложила в уме и убедилась, что уже второй раз в жизни ей безразлично, что именно делает или думает в ту минуту мама...

Мрачный, темный, убогий район, лютый и все продолжающий крепчать морозище, не сгибающиеся в перчатках пальцы – все это чудесным образом приобрело привлекательность и даже доставляло явную радость. «Как здесь, наверное, днем мило, тихо, спокойно! – подумалось Маше. – И какая зима в этом году красивая – такая настоящая, русская, прямо как из "осмнадцатого века"! Вон, даже пальцы приморозило... Хорошо-то как!».

Она доверчиво протянула Игорю обе растопыренные лапки в тонких шерстяных перчатках и пожаловалась:

– Все хорошо, только пальцы очень щиплет... Мороз прямо как в восемнадцатом веке...

– Как *у вас* в восемнадцатом веке, хотите вы сказать? – улыбнулся Игорь. – Вы ведь прямиком оттуда, да? У нас тут, знаете, в двадцать первом, такие девушки уже... не попадаются.

– Но я же вот есть! – вырвалось у Маши.

Нерешительным движением Игорь соединил Машины ладошки и осторожно захватил их со всех сторон своими крупными чуткими руками без ничего. Мечтательно глядя куда-то мимо Машиного плеча, он пропел-продекламировал:

– *Чернь цвела.../ А вблизи тебя дышалось воздухом Осмнадцатого Века...* Это не про Стаховича, а про вас сегодня.

Маша вздрогнула и стремительно повернула к нему голову:

– Как... как вы сказали?

– Это Цветаева, – чуть недоуменно вскинул брови Игорь. – Я думал, вы знаете.

– Игорь, я... Я не только знаю... Это мое – любимое... Это – сокровенное... И именно об этом я – сейчас... И именно это – вы... Это – не совпадение, то есть, это – да – совпадение, то есть, я – ни в какие совпадения – не верю... – потеряв голову от впервые грянувшего над ее жизнью такого грома, Маша не заметила, что инстинктивно перешла на цветаевский язык, но именно он сейчас гармонично выразил то, что она сама ни при каких условиях выразить не смогла бы.

Медленно плыли мимо одетые в иней деревья, и в резком, почти оранжевом свете фонарей причудливо мешались краски зимней ночи, и стрелой летел наискось через бульвар веселый легконогий пудель за далеко брошенной хозяином-полуночником длинной светящейся и крутящейся палкой, и мех Игорева шапки, посеребренный зимою, позолоченный электричеством, казался мехом самого единорога, помянутого Давидом...

– Если вы – все поняли, если вы – вообще все понимаете – или чувствуете – ах, нет, не чувствуете – а – владеете знанием сокровенного, в других – сокровенного, и умеете это сокровенное никак не – ранить, а – возвысить, и человеку – его же сокровенное – протянуть, как хлеб – на ладони, как сегодня вы протянули мне – этот хлеб насущный, но не тот, о котором мы молимся – «даждь нам днесь» – а другой, надсущный, который не превратится обратно – в камни... – в таком духе говорила Маша всю дорогу до проспекта и не заметила, как сели в машину на заднее сиденье, напрочь не воспринимала материальных предметов – ведь не могли же быть таковыми его чудные глаза, вместившие в себя каждый – по половине сегодняшней нездешней ночи, и говорила только в эти глаза, пропуская мимо ушей его ответы, лишь зная, что они согласуются с ее словами единственно правильным и возможным на земле образом...

Потом Маша очень корила себя за подобную невнимательность, потому что в результате от ночи той остались лишь несколько его фраз, глаза, да еще то, самое навеки главное, – а остальное было только ее ощущениями – восторга, полноты, полета и еще чего-то такого, чего, она знала, дважды в жизни не испытывают.

Маша осеклась как проснулась. Машина стояла у подъезда ее дома с одним циклопическим глазом – окном их комнаты, а к стеклу – скорей всего, метнувшийся на звук машины, – с той стороны приник до последнего изгиба знакомый силуэт...

– Мама... – опомнилась и ужаснулась Маша. – Господи!

Игорь уже подавал у открытой дверцы руку. Она инстинктивно вложила туда свою, всем существом нацелившись на черный прогал двери, но он стиснул ей ладонь, почти насильно не выпуская, и Маша заметила, что другая его рука воздета к зеленоватой громаде неба. Игорь заговорил быстро и внятно:

– Ковш видите? Медведицу? Да? Две последние звезды ковша? Они называются «пинчеры». Вот от них теперь смотрите туда, по прямой. Видите звездочка? Видите? Как называется – знаете?

Уже онемевшая от переживаний Маша все кивала, а потом раз помотала головой.

– Полярная. Указывает точно на север. Вот туда я и уезжаю. Скоро и надолго. Но я вернусь и обязательно приду сюда к вам. Верите?

Маша перепутала и опять помотала головой, но быстро поправилась и глубоко закивала, как пони в цирке.

С минуту Игорь смотрел на нее со странным ускользающим выражением, а потом вдруг нагнулся и поцеловал ее – не в губы – рядом. Маша судорожно хватанула ртом густой колкий воздух, пошатнулась, удержалась и, ничего не видя, ринулась в свой подъезд...

Но не будь этого последнего – знала она теперь – он не смог бы сейчас, два с половиной года спустя, подписать телеграмму так трепетно просто, как если бы писал жене: целую, Игорь. Те, кто передавал ей сегодня эту благую весть, наверное, так и подумали...

Получив в восемь часов утра телеграмму, ничуть не удивилась и не испугалась Маша Туманова. Когда схлынула первая волна яркой радости, она еще раз с пылом укорила себя за появившиеся в последние месяцы сомнения. Где-то с февраля ее действительно начала посещать поганая мыслишка о том, что виденный раз в жизни возлюбленный мог давно уже позабыть об обещании, данном два года назад под впечатлением необычного момента. Но Маша каждый раз сурово осаживала себя: «Не слушай, не слушай. Это не твоя мысль, это лукавый нашептывает». «Да, а где же тогда твой ненаглядный суженый?» – отвечал тотчас ехидной скороговоркой, как была раз и навсегда убеждена Маша, приставленный к ней для соблазна злой дух. Он, наверное, уже с готовностью развертывал свою измятую хартию, чтоб грязно намарать на ней страшное слово «уныние», но не на ту напал: всякий раз, стиснув кулаки и преодолевая невыносимое щипание в носу, Маши истово шептала: «Верю!» – и вновь выпадало острое стило из когтистых мохнатых лапищ.

Но с каждым новым утром, то вливавшимся в окно разбавленным молоком, то вдруг расстилавшим на полу золотой солнечный коврик, все ясней и ясней становилось Маше, что любимому следует все-таки немножко поторопиться. Конечно, если б она решилась раскрыть кому-нибудь сладкий секрет своего тайного невестничества, то добрые люди давно подняли бы ее на смех. Маша дурочкой не была и горькую эту истину отчетливо понимала, как понимала и то, что объяснить все и склонить к сочувствию можно только человека, также раз пережившему сокровенные минуты пакибытия – но таковые, если и имелись в Машином окружении, то себя не выдавали...

А телеграмма все-таки пришла сегодня, парким июньским утром, доказав Маше лишний раз то, в чем она и без того была уверена: вера и верность получают награду уже здесь, на земле, – и заставив поджать шелудивый хвост ее личного посрамленного завистника.

Но каким бы солнечным ни выдалось утро, каким бы добрым и ободряющим взглядом ни смотрели на Машу с детства знакомые предметы в комнате – ничто не могло заслонить ветхости и убожества длинного и узкого, как трамвай, помещения. И если мебель можно было наскоро обтереть, на стол постелить нарядную скатерть, подаренную год назад родительским комитетом, выстирать с хлоркой бурый тюль на кухне, замаскировать печать общей мрачности и неказистости жилья с помощью разных вазочек и статуэток, – то серые, растрескавшиеся по всей длине и кое-где повисшие унылыми собачьими ушами обои не оставляли никаких сомнений. Было только одно крайнее, но неизбежное средство: немедленно поехать в магазин, купить все потребное и оклеить комнату по новой. Невозможно было допустить, чтобы Игорь, вернувшийся из сурового края, истосковавшийся по красоте и уюту, увидел вдруг свою возлюбленную из «осмнадцатого века» в этой грязной и безнадежной трущобе! Игорь рисовался Маше обладателем какой-нибудь мужественной и уважаемой профессии, исключавшей, однако, существование налаженного быта холостяцкой жизни, а значит, Машиному дому суждено было стать для него чем-то вроде оазиса мира, покоя и ласки в его суровом мужском служении, сопровождавшемся большими и малыми подвигами...

Изначально однокомнатная квартирка в бывшем общежитии для работников речного порта была получена бухгалтером этого порта Мариной Петровной, Машиной мамой. Тогда здесь, по соседству с Уткиной Заводью, бурлил жизнью целый поселок речников, обретших скромное жилье в нескольких трехэтажных с деревянными лестницами зданиях. Такие мелочи, как отсутствие ванной, телефона и горячей воды не могли смутить счастливых, прибывших, в основном, из сырых и чуть ли не тифозных барачков с земляным полом. Марина Петровна, правда, приехала из трехкомнатной благоустроенной квартиры в центре города, но зато там ее три года как травили и тиранили мать и старшие сестры, и тиранили по делу, так как Марина однажды принесла в дом завернутого в чужое фланелевое одеяло бастарденыша Машу.

Машин отец, как водится, водилось и водиться будет до скончания века, дочь не признал, Марину обозвал и обеим на его порог боле показываться не велел. Поэтому выделенная сочувственным начальством однокомнатная квартирка показалась Марине едва ли не землей обетованной, и она быстро и ловко наладила там вполне сносное и даже приятное свое с дочкой житье-бытье...

Пятнадцать лет назад грянула нежданная-негаданная радость: их дом, к тому времени уже совсем обветшалый и, как старый тулуп, во многих местах прохудившийся, первый в поселке подвергся основательному ремонту, что еще года два вызывало мучительную зависть у обитателей обойденных судьбой домов: за них почему-то приниматься не торопились. Всю проблему решили одним махом: вдруг откуда-то пришло распоряжение снести весь жалкий поселок, а жителей расселить в новые отдельные квартиры со всеми удобствами – хотя и где-то в спальном районе с непроизносимым названием, зато с количеством комнат по числу голов в каждой семье. Жители поселка, давно жившие почти по принципам первобытнообщинного строя, обнимались и плакали на улице. И действительно, дома стали опустевать один за другим, Марина Петровна с Машей уже рисовали вечерами под абажуром план-схему будущих своих двухкомнатных хором, как вдруг пришло новое решение: расселение отремонтированного дома, как признанного абсолютно пригодным для проживания, отменить на неопределенный срок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.